ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕТЕКТИВ

Ирина ТОСУНЯН

Две больших, четыре маленьких,

или Роман, который мы потеряли

Лит. газета. – 1995. – 25 окт. – С. 6.

НАВЕРНОЕ, мне очень уж хотелось, чтобы эта рукопись нашлась. То, что у Венедикта Ерофеева есть роман под названием "Шостакович", я узнала еще в 1988 году, листая Энциклопедический словарь русской литературы, составленный немецким филологом Вольфгангом Казаком. Строки, посвященные Ерофееву, были полны предположений, догадок, формулировок типа "говорят", "по слухам". Были и такие фразы: "несколько его произведений считаются утерянными", "рассказывают о других произведениях Ерофеева, например о романе под названием "Шостакович", но тексты их не встречаются".

Год спустя удалось взять интервью у неуловимого автора "Москвы – Петушков". Ерофеев подтвердил:

– Рукописи мои действительно пропадали. "Шостаковича" потерял в электричке, вернее, украли авоську, где были, кроме него, две бутылки вермута. Роман опять же об алкоголиках, а события происходят во Владимирской тюрьме.

– Желания восстановить книгу не возникало?

– Было, пробовал. Но получилось то, что, образно говоря, получилось из громадной Российской империи к лету 1918 года – крохотная Нечерноземная зона. И я тихонько задвинул "попытку" в отсек своего стола.

– Может быть, роман еще найдется... – предположила я.

Он немного помедлил и сказал:

– Вообще-то я знаю, кто украл рукопись...

Через год Ерофеев умер от рака горла. Болезнь была затяжной, мучительной, страдания – невыносимыми. Уколы, которые ему назначали, вскоре перестали действовать, облегчение приносила лишь рюмка коньяка, выпиваемая периодически. "Никакого тебе вермута, никакой бормотухи, наконец-то мой организм воспринимает лишь благородные напитки", – шутил Ерофеев.

После его смерти при каждом удобном случае я расспрашивала людей, знавших писателя, о пропавшем романе. Ничего нового мне никто не сообщил. Лишь близкий друг и однокурсник Ерофеева по МГУ Владимир Муравьев, которому почему-то очень не понравился наш телефонный разговор, отрезал: "Все это ерофеевские фантазии. Не было никакого романа "Шостакович", никогда не было! А вам он мог что угодно наплести".

Шел 1993 год.

А спустя еще два года мне позвонил другой, тоже близкий друг Венички, Слава Лён:

– Хочешь почитать роман Ерофеева "Дмитрий Шостакович"?

Я, разумеется, хотела.

ИТАК, Слава Лён. Поэт, прозаик, доктор философских наук, вице-президент Российской академии экранных искусств. В 1985 году за свой первый роман "Иноходец Миша Барышников" получил в Париже премию имени В.И.Даля. Сейчас заканчивает седьмой роман, автор семи книг стихов, восьми пьес...

В 1955 году вместе с Ерофеевым поступал в МГУ на филфак, на тот же курс, где собрались Аверинцев, Б.Успенский, Муравьев, но затем передумал в пользу мехмата. За неделю, в течение которой они общались, успели почитать друг другу свои стихи, и москвич Лён надавал провинциалу Ерофееву словесных оплеух. Однако расстались мирно – до 1970 года.

Во второй раз его свел с Ерофеевым поэт Александр Величанский. Это именно он, Величанский, принес в "башню на Болотниковской", где жил Лён и где собирались тогда поэты-смогисты, потрясшую всех поэму "Москва – Петушки". А затем Величанский вместе с Леонидом Губановым привели и самого автора поэмы, ставшего здесь отныне самым желанным гостем. Но, несмотря на приобретенный таким образом огромный круг общения (кроме писателей и актеров, в те годы у смогистов бывали и такие художники, как Олег Целков, Борис Козлов, Михаил Шварцман, Михаил Шемякин, и многие другие), в собственном узком кругу Ерофеева закрепились лишь Ольга Седакова, Величанский, Лён. И Владимир Муравьев.

– Таким образом, Слава, роман, о котором я читала в словаре Казака и который Ерофеев именовал "Шостаковичем", называется "Дмитрий Шостакович"?

– Да, и нашелся он почти сразу, через год после исчезновения.

– А что, в самом деле была авоська с двумя бутылками вермута и рукописью?

– Именно из-за бутылок эту авоську и украли.

– А когда вино было выпито, раскаялись и через год рукопись вернули?

– Все значительно сложнее и значительно хуже. В 1973 году пришел ко мне Губанов и попросил 73 рубля. Объяснил: семьдесят рублей, чтобы выкупить ерофеевскую рукопись, и три, естественно, на бутылку. Оказалось, что рукопись – две больших и четыре маленьких тетради – он продал академику Мигдалу, тесно с нами в те годы общавшемуся.

– Как же Губанов объяснил все это? Зачем он украл ту авоську?

– Как зачем? Две бутылки бронебойного! Потом уже обнаружил, что еще и рукопись имеется, полистал, грамотный ведь, литератор. Понял, что это ерофеевский роман. В очередной раз, когда нужны были деньги, заложил тетради Мигдалу. А через год с моей помощью выкупил.

– Он должен был отдать их вам?

– Но так и не отдал, все тянул волынку. Впрочем, мои друзья, случалось, так меня наказывали. И только после смерти Губанова, в 1983 году его машинистка отдала мне перепечатку того, что было в тетрадях.

– Ерофеев был в курсе всей этой истории?

– Губанов, который жутко боялся Ерофеева (тот не признавал его ни как поэта, ни как личность, почему, как мне кажется, Леня так и не вернул украденных тетрадей), вымолил у меня обещание никому не говорить об этой его проделке. И я честно никому не сказал, кроме, конечно, Ерофеева. А когда десять лет спустя выкупил перепечатанный текст, отдал его Веничке, сняв предварительно копию.

– Почему же Ерофеев утверждал, что романа нет?

– А романа, как такового, для него и не было. Оригинал не вернули. А к перепечатке он отнесся, скажем так, невнимательно. Говорил: "Главное – мои тетради: две больших, четыре маленьких. Мне нужно с ними сверить. Здесь же нет ничего окончательного, здесь нет структуры, ты же знаешь, как я пишу свои записные книжки!"

– Это действительно так?

– Рукопись, которая находится у меня, – примерно десять печатных листов. Там все ясно – фабула, сюжет. Но со всем этим еще надо работать.

– Прописывать?

– Нет, просто не всегда можно сразу понять, какие куски за какими идут и т.д. Но все это вполне можно сделать.

– Почему же сам Ерофеев не сделал? Почему Муравьев говорил о романе как о ерофеевской фантазии?

– Я тоже, пока Губанов не пришел ко мне за 73 рублями, не верил, что писатель, написавший роман в 72-м году, не может его восстановить в 73-м, по памяти. А память у Ерофеева была лошадиная. Однако он не восстановил. А спустя десять лет, когда я принес ему перепечатку, сказал: "Это еще надо посмотреть..." И смотрел – еще семь лет.

– Значит, он так и не признал текст своим?

– Когда речь об этом заходила, упрямо твердил: "Пусть мне вернут мои тетради, две больших, четыре маленьких". Это был, как я уже сказал. 1983 год. В сентябре, после поездки в Петербург, он попал с белой горячкой в Кащенко. С тех пор вплоть до 1985 года сделал туда еще три ходки. А в 85-м ему сделали операцию на горле...

О Ерофееве – загадочном существе – можно рассказывать долго. Я знал его очень хорошо, мы многое пережили вместе, и все-таки я не пойму, почему он не писал годами. Помню, Александр Зиновьев, с которым я его познакомил в апреле 1978 года, сказал Ерофееву: "Венедикт Васильевич, раз уж ты нашел свой стиль, свою манеру письма, ты должен написать еще два, три, четыре романа". Сам он с той поры написал уже штук шестнадцать. Ерофеев в ответ: "Да, да, да". И ничего не писал годами. В то же время ему ничего не стоило за два месяца в больнице написать великолепную пьесу, за две недели – фактически под арестом – "Василия Розанова глазами эксцентрика"...

– Под каким арестом?

– Летом 1973 года издатели самиздатского журнала "Вече" под Царицыном посадили в избушке под домашний арест Ерофеева, которому негде было жить, обложили его томами Розанова и ввели сухой закон. А Ерофеев, надо сказать, был великий читатель. В две недели эссе, ко всеобщему удовольствию, было готово. Журнал получил заказанную работу, Ерофеев – заработанную бутылку водки.

– Очень колоритно. И все же вернемся к роману "Дмитрий Шостакович". Где, по-вашему, оригинал может быть сейчас?

– Оригинал у Губанова.

– Вы хотите сказать, у его наследников?

– После смерти Губанова наследницей стала его мать. Но в основном рукописи он держал у своих многочисленных девочек-машинисток. Кроме того, у него было три жены. Так что с архивом Губанова неразбериха еще большая, чем с ерофеевским. Где те "две больших, четыре маленьких", сказать сложно. Но они не пропали, я абсолютно уверен, более того, я уверен, что они попали в чьи-то очень трезвые руки.

– А экземпляр, который вы дали Ерофееву, в его архиве?

– Во всяком случае, полгода спустя после смерти Венички он был там, мы говорили об этом с его вдовой. Но после самоубийства Галины весь архив перешел к ее матери. Сегодня все, что связано с публикацией архивов Ерофеева, сильно осложнилось.

– Но хотя бы отрывок из находящейся у вас рукописи мы можем опубликовать на страницах нашей газеты?

– Думаю, можем.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ романа "Дмитрий Шостакович" не закончены. Возможно, что найдется оригинал, возможно, роман когда-нибудь напечатают полностью. Но хотя в разговоре со мной Ерофеев обронил фразу: "Это лучшее из всего, что я написал", мы так и не узнаем, каким роман мог быть в окончательном варианте, если бы его не украли. Таким, какими стали четыре его канонических текста – "Москва – Петушки", "Василий Розанов глазами эксцентрика", "Вальпургиева ночь, или "Шаги командора", "Моя маленькая Ленинниана", выверенные автором до последней запятой.

Но есть еще одна его работа, тоже на сегодняшний день сгинувшая, но уже в архивах самого Ерофеева, – составленная им антология "Стихи на каждый день", включившая 365 стихотворений русских поэтов. По одному стихотворению – от Ломоносова до поэтов Серебряного века – на каждый календарный день года. Представляете, на 1 января – одно стихотворение, созвучное этому дню, на второе января – другое... Слава Лён, хорошо знакомый с ерофеевской антологией, уверен: читать ее было бы наслаждением для каждого любителя поэзии.

Ерофеев перестал сочинять стихи после того, как написал в 1970 году "Москва – Петушки". Он их не писал больше никогда. Но поэзию знал великолепно и, судя по дневникам, очень пристрастно и, наверное, не всегда справедливо относился к поэтам-современникам. Рассказывают, как после одного особенно бурного обсуждения стихов молодых поэтов, регулярно проходивших в "башне на Болотниковской", Вагрич Бахчанян воскликнул: "Веничка, мы тебя, конечно, любим за "Петушки", но как ты нам мешаешь жить! Ведь ты просто жестокий, а не жесткий человек. Ты злой человек. Нельзя такое говорить молодому поэту о стихах, которые ты, может, еще и не понял, не оценил!"

Но Ерофеев не был ни жестким, ни жестоким. Наоборот, это был самый мягкий, самый деликатный человек. Кроме оценки стихов – действительно и жесткой, и жестокой. У него, конечно, были свои пристрастия – Бродский, Ахмадулина. Своим друзьям-поэтам – Седаковой, Величанскому, Лёну – он не говорил ничего, ни плохого, ни хорошего. А как самый веский аргумент в своем споре с поэтами собрал и составил ту самую, неизвестно где сегодня находящуюся антологию "Стихи на каждый день".

На вопрос, могут ли обнаружиться еще какие-то неизвестные тексты Ерофеева, Лён ответил категорически: "Нет". Я же закончу статью словами самого Венички Ерофеева, который очень любил эту придуманную им фразу: "Я еще не окончательный и обжалованью подлежу".

Фото Виктора БАЖЕНОВА

Венедикт ЕРОФЕЕВ

Дмитрий Шостакович

Начало романа

...ИЗ ПОЛНОГО адреса я помнил только название улицы "Коммунистический тупик", но летел туда как на крыльях. Играя духом, рукой рисовал в трепетном с бодуна воздухе блаженство второго свиданья. С ней! – волооокой, для меня все еще потусторонней, гармониесообразной. Я и сам был меломаном, когда не пил. Но когда я не пил? Скажи, Шостакович, когда?

В тупике я быстро нашел особняк – выбрал, как в Верховный Совет: один из одного. И не ошибся: остальные были хибары. А этот выдавался, выдвигался, выпячивался, торчал, как пуп земли. Древней, владимиро-суздальской.

Она мне так и сказала: "В тупике выбирай любой особняк – по вкусу". А вкус у меня был. Я славился своим вкусом – она это знала. Уже наизусть.

Массивная дверь оказалась незапертой: через пустую прихожую – вестибюль – я прошел в первую залу. Она тоже была абсолютно пустой, но за дверью стоял дикий хохот – резной дверью напротив.

Я постучал: хохот усилился, но дверь не открылась. "Хохот сам по себе, дверь сама по себе!" – про себя оценил я ситуацию вслух и опустился сознанием в кресло: "Как низко я пал!" Поскольку на ломберном столике стояла ногами початая бутылка киндзмараули, с парой бокалов, я решил выпить. Читаем: рыба-пила. А кто теперь не пьет?

Хохот то усиливался, то затихал – слов не было слышно: в этой стране вербальный язык вышел из моды. Вышли мы все из народа, а язык вышел – из моды. Как говорит логопед, был, да весь вышел.

Я погромче еще было раз постучал в закрытую дверь и, не зная ответа, сел. Смирно. Выпил. У нас давно так: кто-то стучит, кто-то садится. Но являть в едином лице оба действа считается извращением. Я поэтому выпил по норме. Знать, ценить, уважать культурную норму любой – подчеркиваю, любой – деятельности учили меня во всех моих университетах. Вокруг Горького, Владимира и Москвы. Во всех моих университетах – до отчисления. Приказом ректора. По исключении из комсомола. Из коллектива. Правило не бывает без исключения. Это – норма.

Вдруг смех прекратился. Перестал быть как-то внезапно и разом. Через минуту в оглушительной сверхтишине родилась, нарастая крещендо, ни на что не похожая нота – завыванье. За стеной попадали стулья и раздался звероподобный рык! – еще две минуты какой-то возни и все стихло. Молча и навсегда.

Я выпил еще бокал и за неименьем ключа взял ломик. Резная дверь, будучи слишком массивной, но с мелким запором, сопротивлялась недолго.

...Зрелище, представшее моему нетрезвому взору, было душераздирающим. Если бы у меня за спиной до того хлопали крылья, они бы опали. Просто бы отвалились, усохнув, за полной ненадобностью. Что на свете есть ангельского – субстанционально? – Ничего человеческого вотще не существовало в коммунистическом мире: мерзость запустения являла собой открытая без ключа комната смеха. Но рыдание и скрежет зубовный не заглушили бы теперь мертвенной тишины.

Тринадцать с высокими спинками стульев (два из которых были опрокинуты навзничь), спугнув робкую было надежду своей пустотой – полным отсутствием смехолюбивых сидельцев, зловеще окружали, как столбы на замке государственной нашей границы, забитый яствами стол. Забитая дверь, какую по вкусу пришлось открывать без ключа ломом, становилась аллегорически ясной – даже прозрачной. Весь этот антураж, бутафорские яства, пирамида бутылок шампанского, тринадцать одиноких – одинаковых – стульев, вся эта мертвечина – натюрморт – стягивала лучи зренья и ужаса к живой голове в центре Мира: к отрезанной голове Дмитрия Шостаковича на блюде. В центре стола!

Я взвыл, не услышав своего собачьего воя, и – бросился вон.

И БЫЛО утро, и был вечер, и полыхали зарницы, и южный ветер сгибал тамаринды, и колхозная рожь трепетала в лучах заката. Мой разум глох, и сердце оскудевало, и не хватало дыхания, и грудь моя теснилась от миллиона предчувствий, и я в первый раз посмотрел на небо. Я, никогда не глядевший на небо.

И – в тот же час – свершилось! – сквозь метания беспокойных звезд ворвался в унылую музыку сфер охрипший хор серафимов, и завеса времен заколыхалась от сумасшедшего томления, и раздралась надвое – и вопль ужаса и восхищения оглушил меня и опрокинул в придорожную канаву. И кто-то давился от смеха над моей головой, и тряс меня за волосы, и говорил:

– Что делаешь ты, брат мой, в этом мире, ты, который больше, чем этот мир?

И я поднял голову, и дышал в пространство водочным перегаром, и ничего не видел, кроме тьмы.

И холодная грязь текла мне за шиворот, и было утро, и был вечер, и полыхали зарницы, и взгляд мой выражал недоумение, смешанное со страхом, и уши мои вздымались, и дыхание было прерывисто.

И бесплотный сосед мой говорил мне:

– Слушай меня – теперь – самый светлый из всех онемевших, – ты хорошо ли исчислил сроки? Ведь я один из тех, кто оставался с Ним до конца – с Ним и с тобой – ты помнишь?

Так говорил тот, кому я внимал и кто не хотел быть зрим. И я отвечал ему:

– Кто бы ты ни был, слова твои ложатся мне на сердце, но божественный синтаксис твой не вполне изъясним.

И он рассмеялся и сказал мне:

– Наступит время и ты поймешь – с тех пор, как звезда наша стала заново восходить и перепуганный Творец ввел в наших сферах систему тайных доносов, ни один мыслящий призрак не хочет быть понятым в пределах, указанных Тем, Чей дух почил на небе с ударом молнии, возвестившей мое явление. И вот – прежде чем расступится тьма, ты возвратишься в тот мир, которому теперь не принадлежишь, сердце твое сто тридцать раз сожмется от страха и таинственных речений, и увидишь край, где томятся души поверженного воинства Люцифера, и изведаешь силу трех испытаний – и тогда разум Того, Чьи милости скрыты, осенит твою голову, разбухающую от неведения – ты этого хочешь, мой юный страдалец? Ты хочешь идти со мной?

И он говорил, и меня забавляло проворство его декламаций, и все голоса во мне смолкли перед сладкой потребностью чуда.

...Но мгла становилась бездонной, и я заклинал его назвать себя, и он не хотел, и шептал мне на ухо, и обливал меня дождем, и щекотал, и смеялся, – и уносил меня на крыльях блеющего смеха.

И, унося, раздвигал мои пределы, и обволакивал рассудок тьмой непроницаемых аллегорий, и все горизонты свивались в кольцо, и опрокинулся небосвод, и в нем растворились ликующие наши тела, отрешившиеся от бремени всех измерений, и свистели полуденные ветры, и с грохотом проносились тысячелетия из конца в конец эфирных равнин, и – распахнулись врата адовы.

– Не бойся открыть глаза, – говорил мне Дух, сроднившийся со мной в изнуряющих блаженствах полета, – не бойся открыть глаза, мой усталый брат. Вот мы перешли рубеж, отделяющий горние страны от пределов, осужденных на покаяние и вечные муки.

И первое искушение уготовано было мне, и глаза мои, повинуясь приказу, блестели, и панически острый взгляд блуждал среди мрачных теснин, и дымные факелы озаряли утесы оловянным мерцанием, и бросали на жесткие щеки каждого из поверженных ангелов тьму фиолетовых бликов, и громко слышна стала музыка сфер, и первой явилась Дива...

МИЛИЦИЯ ехала долго – верх'ом ездить она не умела. Да и лошади пали – в год великого перелома. Ребер.

Милиция – это тысячеглавая гидра без ног, без сердца, без сострадания. Она в числе семи человек с ружьем приехала на козле – знаменитой в народе автомашине ГАЗ-69. Колеса которой, как всегда, восьмерили и крутились в разные стороны.

Старший – старлей, – соскочив, что-то нечленораздельно рявкнул перед массивной дверью, и шестеро остальных, как обычно – шестерок, бросились врассыпную: у нас, как всегда: колесо – восьмерило, шестерки – шестерили, а люди говорили: "Строим?" Сделав вид, что они оцепили в злом преступлении подозреваемый особняк, четверо из шестерки лягавых постепенно и зло стали сжимать кольцо. Гранаты-лимонки в правой руке – у каждого по две штуки. По рыку-команде старлея – дружно и разом выдернув чеку, чекисты – буду отныне их называть не собственным именем – пугающе, но не страшно забросали звенящие окна взрывчаткой и под грохот хлопуш ворвались со всех четырех сторон – со всех ног и лодыг – в переполошённое здание: абсолютно пустое.

– Абсолютное пустое! – самый грамотный, с неполным, но классным – из трех – образованием чекист доложил по уставу старлею. Какой, все еще опасаясь оружья и зверства бандитов, мялся на улице: жался к козлу с молоком. Другой, безголовый, но порасторопней чекист опрометчиво вынес на блюде голову Дмитрия Шостаковича.

– Верни взад! – не вынес дикого зрелища старший – страшный во гневе – начальник и, выхватив блюдо, бросился в распахнутый изнутри особняк.

Ибо следом приехали следователи из КГБ: настоящие чекисты – помните "Повесть о настоящем человеке"? – настоящие люди светлого будущего с фотоаппаратами, лазерами-мазерами и прочими прибамбасами. Приехали быстро – верхами. Но и этих коней КГБ – конь КГБ! – это звучит: гордо, – коней КГБ сразу сдали на колбасу: страна голодала.

Мигом отщелкали, как в кинофильме "Повесть о настоящем человеке", сыщики комнату смеха, сфокусировав злобу-внимание на голове Черномора:

"Фокусники!" – про себя заметил я их торопливость. "Циркачи!" – про них заметил я только себе.

– Только сам себе мог оторвать эту башку Дмитрий Шостакович, – все еще не замечал на хорах притулившегося меня старший следователь. – А где остальной труп?

– Все чисто! – мы обшарили все катеты и углы: НЕТУ! – гипотенузой выстроившись по зале служить, чуть ли не хором рявкнули подчиненные. Идее прогресса и светлого будущего.

– А где остальные головорезы? – не веря своим глазам, вслух обратился старший следователь к старлею.

– Успели бежать! – головой ответил последний. Из конкурирующей конторы. Головой Дмитрия Шостаковича.

– Успели ОНИ или не успели ВЫ? – старший следователь ребром ставил вопрос, но он все равно падал набок. И ложился плашмя. Будучи риторическим. – А почему крови нет?

– Потому что контрреволюция оказалась бескровной.

– В каком смысле?

– В прямом, как путь к коммунизму: ее делают бездомные, бичи без прописки, бомжи – бродяги, одним словом...

– А если двумя: бродяг у нас нет и быть не может!

– "БРОДЯГА К БОКАЛУ ПОДХОДИТ!" – лицом все еще во хмелю на хорах затянул пояс потуже подозреваемый я.

– Секса у нас тоже нет, однако мы с вами исправно бараемся!

– Не с вами! – взвился старлей к потолку. Негодования: милиция всегда недолюбливала "бойцов невидимого фронта". КГБ всегда обходил милицию: на поворотах генеральной линии – на перегибах генеральских лампасов.

Старлей взвился к потолку и на хорах увидел меня, ужаснувшись и затрепетав:

– Наручники! – их тут же чекисты защелкнули у меня на запястьях – руки назад: пясть, перси, ланиты, уста – все было в прошлом. Теперь мне ничего не оставалось, чтобы спасти себя, делать, как насильственно развести душу с арестованным телом. Мне, особому мистику-натуралисту: что это такое – скажу после, технически не составляло труда отделить их друг от друга, но совершить это при жизни был большой грех. Больший гораздо, чем отодрать сидорову козу – с точки зрения козы. Не скотоложника. Ибо бездушное тело – мертво. И надо знать русскую душу, чтобы взять и решиться на столь страшное дело. Но:

раз пошли на дело я и Рабинович, то надо идти до конца. Я вывернул себя наизнанку – душа, как известно, внутри, и стал нежно ее препарировать: такое доступно только натуралисту. Натуралист со времен Френсиса Бэкона не только бесстрашно пытает природу, но и вершит всю эту безжалостную работу – хорошо. То есть по культурной норме. В – теперь уже классическом – субъект-объектном подходе.

Но следует тут же добавить...

– Прокурор добавит! – не замедлил вставить в мечту и свое грубое слово старший следователь Рабинович, но я его выставил за дверь: терять мне уже было нечего! – и закончил внутренний монолог: следует тут же добавить, что мистик-натуралист, в отличие от просто натуралиста, сперва, выйдя в позицию рефлексии, пытает себя: "Где у тебя – объект?" – субъект, положим, это я сам (хотя к пресловутому "Я" у меня тоже не лежит сердце и стоит ряд вопросов): "Где у тебя, – на втором шаге пытаю уже не себя, а природу (две попытки, как минимум), – где у тебя объект?" И вдруг выясняется, но все еще как бы в тумане, заоблачно выясняется, что никакого такого "готового" объекта нет, нет как "готового": ни у меня как у субъекта, ни в природе как таковой. Нет и не существует, не существует и не является:

– Мистика какая-то! – скажет читатель – через голову старлея Иванова и следователя Рабиновича – непосредственно мне, который у них в руках и в наручниках, и будет абсолютно прав (хотя с этим "абсолютно" не все так просто: "абсолютно" – только обнищание у Маркса и у кормившихся им большевиков: те свой народ довели не просто до ручки, то есть до голода – до людоедства!).

Тело мое в наручниках перекинули лихо в тюрьму на козле: Владимирский централ известен всему крещеному миру. И некрещеному тоже: рукой подать было еще до сидки тут атеиста Василия Джугашвили – Алиллуева по матери – сталинского сокола и ворошиловского стрелка. Из пушек и не по воробьям. Поддавальщика!

Когда расстегнули наручники, я не подал руки своему сокамернику: в нашей тюрьме нет такого церемониала. Зато сокамерник сразу спросил о статье:

– А как звать тебя впредь прикажешь?

– Зови – Саша Черный, – эхом отозвалось мое порожнее тело.

– Пустопорожнее: ну и имячко ты себе выбрал – оторви и брось: уголовное.

– А у нас в тюрьме политических нет.

– Ну, коли тебе впаяли статью – умышленное убийство, да еще с отягчающими вниз обстоятельствами, то какая тут может ногами идти речь о политике?

– Да я же не убивал! И пока еще ничего не "впаяли".

– А теперь докажи верблюду, что ты не электросварщик. Уж коли мне, Петру Якиру...

– Что-о-о? – на полу потерял я дар слова и взял его с потолка. – Ты – Якир?!

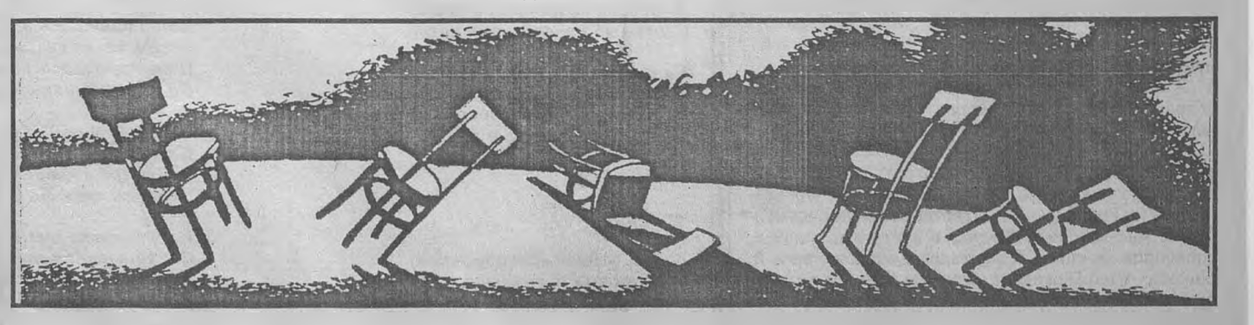

Рисунок Ирины ШИПОВСКОЙ